

pocket**book**

rocket**book**

Владимир
МАЯКОВСКИЙ

Во весь голос



Москва
2023

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М39

В оформлении обложки использована
картина «Автопортрет в желтой кофте»
Владимира Маяковского (1893–1930)

Маяковский, Владимир Владимирович.
М39 . Во весь голос / Владимир Маяковский. —
Москва : Эксмо, 2023. — 448 с. — (Pocket book.
Русская классика).

ISBN 978-5-04-188121-4

Многогранно талантливый, бунтарски страстный, лирически нежный, а главное, нестандартный Владимир Маяковский — одна из титанических фигур русского искусства. Он буквально захватывает внимание читателя «пожаром сердца», азартом, необычностью метафор.

Вся его биография отражается в стихах, поэмах, а самые значимые представлены в этом сборнике. Читатель становится сопричастным открытиям поэта, чувствует его творческое движение, понимает, какие темы, вопросы, проблемы, препятствия возникали на его пути, и разбирается, как именно Маяковский пытался с ними справиться, переживая трагедию творческой личности, оказавшейся в начале XX века в России.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-188121-4

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

СТИХОТВОРЕНИЯ 1912–1917 ГОДОВ

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

[1912]

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза

сделала больней
враждующий букет бульварных
проститутток.

И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба

крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

[1912]

Из улицы в улицу

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы

тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули,

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

«Я не хотела!» —

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клоч.

Лысый фонарь

сладострастно снимает

с улицы

черный чулок.

[1913]

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

[1913]

Я

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,

целуется газетными киосками,
а шлейфа Млечный Путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студёные ведра.

В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя —

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной

пробегают народа шорохи

от кровати до угла пустого.

Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»
[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал грóба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!

Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

[1913]

Кофта фата

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

[1914]

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полúденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мýку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

[1914]

А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людам страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

Война объявлена

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуй цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урёдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рта,
у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»

А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма-а-а-ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбрыцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

[1914]

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

[1914]

Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,
36,24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, — набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,